

**В. Харузина**

## **Царевна – каменное сердечко**

### **Сказочная повесть**

#### **I**

Жили-были в стародавние времена царь с царицей. Всем была красна их жизнь: и могуществом, и властью, широтой и богатством владений, и взаимной любовью. Одного не дал им Бог: не было у них детей. Много царь с царицею печалились об этом. Раз пошла царица гулять в свои зеленые сады. Она пошла не одна, но с любимой своей сенной девушкой Афимьюшкой. Была Афимьюшка сирота горькая и притом немало судьбой обижена: она родилась горбуньей уродливой, да, кроме того, еще и оспа ее испортила. Не взял ее никто замуж из-за её убожества, и прошли годы её ранней юности в слезах за разные горькие обиды, за речи насмешливые, которые ей часто приходилось выслушивать. Но жалостливо было сердце у царицы, и она взяла её к себе в прислужницы, ласкала её, привечала всячески – стала матерью сироте горькой и убогой.

Вот идет царица по саду и видит вдруг издали: под её любимой черемухой, высокой и раскидистой, что стояла вся белым цветом, словно снегом осыпана, стоит старец – калика перехожий<sup>1</sup>, дряхлый и слабенький, ласково на неё поглядывает, качает седой головой, словно бы манит её к себе. Она подошла к нему и сказала: «Ошибся ты, старец-калика перехожий, зашел ты в сады царские. Обойди кругом, заходи в наш широкий двор: там у нас высокая клеть<sup>2</sup> для странных людей<sup>3</sup>.

В ответ ей старец ласково улыбнулся и промолвил:

– Маленько ты ошиблась, царица. Зашел я сюда не для того, чтобы царского вашего угощения отведать, зашел я объявить тебе радость немалую: родиться у тебя скоро дочка. Красоты она будет неописанной, ума-разума светлей на свете не сыскать.

Застыла царица в удивлении, слушает странного человека – калику перехожего; забилося в ней сердце: не знает верить ли, нет ли великой радости.

Проговорил дальше старец:

– Жаль мне тебя, ласкова царица – матушка: не одну радость пришел я сказать тебе... Приключиться с царевной лихо великое: будет твоя дочка прекрасна и разумна всем на удивление, будут все прославлять её, завидовать, за счастливую почитать; да никто не спознает, как и чем её молодая жизнь будет отравлена. Сердца-то у неё не будет настоящего, а будет оно у неё каменное. Не забьется оно от чужих страданий, зато и от радости не пошевелится.

Замерло сердце в груди у царицы, сжалось от тоски. Сама побледнела, как белеет холст в лучах солнца на росистом лугу. И слышит она как бы сквозь речь старца:

– Постой, царица, не круши сердца своего бедного. Неужто с дурной вестью пришел бы я к тебе? Велика беда царевны, но силы будут – и от нее можно избавиться. Помни,

---

<sup>1</sup> Калика перехожий (от калигвы – башмаки, обувь странников) – в произведениях устного народного творчества: нищий, странник.

<sup>2</sup> В крестьянском быту: холодная половина избы или отдельная изба без печи, здесь: отдельное помещение.

<sup>3</sup> Странник, странствующий человек.

случается, ведь и солнышко светлое злыми тучами в полон берется; только, знаешь, скроется оно, а потом и выглянет снова, мощное и вольное ...

Проговорил это старец, улыбнулся ласково, да и сгинул под черемухой, словно его и не было. А царица с Афимьюшкой долго еще стояли на месте, недоумевая, не мечтание ли какое с ними приключилось. И порешили они никому об этом ни слова не молвить.

Долго ли, коротко ли, только у царицы действительно родилась дочь. Много было веселья при царском дворе. Царь не знал, как и чем проявить свою радость. Устроил он пир великий на всю землю, сделал в монастыри богатые вклады, щедро оделил нищию братию из своей казны. Не мог он наглядеться, налюбоваться на свою новорожденную дочку. Царю казалось, что с каждым днем она хорошеет и становится все разумнее и понятливее. Целые дни он просиживал возле люльки, сам её укачивал.

Но царица была невесела. После первых радостных дней на неё напали тоска и тяжелые думы. Часто ночью, когда спали все и дремали даже матушки и нянюшки царевны, она подходила к её люльке, и слезы лились неслышно по её побледневшим щекам.

Раз, когда она случайно осталась в терему одна с горбуньей Афимьюшкой (царевна лежала у неё на коленях и смотрела на мать такими разумными глазками), царица вдруг решилась и приложила руку к груди ребенка.

– Не бьется, – сказала она и еще пуще побледнела.

Афимьюшка в свою очередь приложила руку к сердцу царевны, и горько заплакала.

Не было сомнения, правду сказал старец – калика перехожий, неведомо откуда взявшийся: сердце у царевны было каменное, оно не билось, не давало себя знать в груди. А маленькая царевна глядела на мать так ясно и разумно, точно понимала все; не понимала только, почему у обеих женщин потекли на глазах слезы.

С того дня захирела совсем царица. Не долго промаялась она на свете, скоро её не стало.

## II

Красавицей выросла царевна на радость старику – царю. Тяжелая, черная, в ладонь шириною коса змеей вилась у нее по прекрасно округленным плечам. Темно – серые глаза были опущены длинными шелковистыми ресницами. На ланитах горел, переливался яркой зоренькой нежный румянец, зубы блестели, точно нанизанный в ожерелье жемчуг. И поступь у неё была лебединая, бровь – соболиная – одним словом, красавица она была писаная. Только алые губы её редко, почти никогда не улыбались. Вообще она всегда глядела несколько сурово и горда, глядела на всех с проницательным вниманием и никогда ни перед кем не опускала глаз. Некоторых смущал этот пристальный взор ее темно – серых очей, его находили даже зазорным для девицы. Но большинство свыкалось с её обхождением, необычным для красивой девушки, объясняя это тем, что она росла не в пример другим девицам.

Не держал царь – старик свое любимое единственное детище в терему, за девятью замками. Она не была обречена на пустые разговоры и забавы с сенными девушками, мамушками и нянюшками. Молодую царевну учили разным наукам с ранних лет, когда она выказала сама необычайную охоту учиться. Она выходила в светлую гридницу<sup>4</sup>, когда её царь беседовал со своими дружинниками или когда баяны – гуслиеры пели ему на потеху свои длинные думы, восхваляя подвиги богатырей и княжеские доблести. Она присутствовала на советах царских, когда мудрые мужи обсуждали с царем важные земские дела. Сидя рядом с отцом, она переводила пытливый взгляд с одного на другого, жадно

---

<sup>4</sup> Помещение при княжеском дворце, где размещалась дружина и происходили неофициальные приемы

слушала прения, ловила, как порой отражается мысль на высоком челе какого-нибудь старика, в горящих очах какого-нибудь юного отважного бойца.

Сначала ее присутствие смущало дружинников и старых советников царя, но потом все привыкли к нему. И не один воин, выдавший много и русских красавиц и красивых полонянок, вспоминая свою молодость, останавливал на ней одобрителный и немного грустный взгляд, когда она сидела в гриднице, уронив на колени вышиваемый ею рушник и, вся охваченная вниманием, слушала речи мужей, песни баянов-гусяров.

Она никогда не довольствовалась тем, что знала, но все ей было любопытно и занято, она обо всем расспрашивала и разузнавала. Обращалась она с вопросами без различия и к старикам, выдавшим виды, и к молодым, побывавшим в чужих краях, к баянам, которые со своими гусями исходили всю землю, к старикам-слепцам и странникам, которые пели такие умильные духовные стихи, что слезы блестели на глазах слушающих, и даже к скоморохам и сказочникам, которые приходили на царский двор для потехи. Но чаще всего со всем непонятным для неё, приводящим ее в недоумение, возбуждавшим в уме смутные вопросы, она любила обращаться к старцу-иноку, который был ее ближайшим наставником, который научил ее читать божественное Писание и даже списывал божественные книги.

Всем одинаково, старикам и молодым, она глядела в глаза, и взор ее прекрасных очей был прям и чист. Она не краснела, не потуплялась и не боялась встретиться с другим взором. Ей нужно было одно: услышать ответ без утайки и увертки, такой же честный и прямой, каков был и ее вопрос. И такие как люди лживые, лицемерные и льстивые не могли вынести ее взгляда и благодаря этому открывалось много темных и дурных дел, то и прошла слава про царевну, что она так умна, что насквозь видит каждого человека. И когда слушали ее беседу, ее умные речи и особенно когда видели ее за списыванием божественных книг и слышали ее прения с мужами, вкусившими книжную мудрость, царевну всячески восхваляли за отменный, необычайный ум.

Конечно, и про царевну говорили дурно. Порицали её, например, за то, что она не в меру горда. Это была правда. Она гордилась тем, что была красавица, и тем, что превзошла все науки. Она говорила, что гордится перед другими, потому что у нее есть основание считать себя выше их; что, если бы ей не было дано всего, что у нее есть, она бы и не гордилась. Она говорила, что несколько не удивилась бы, если бы другой, более ее одаренный, величался бы перед ней, что она охотно уступила бы ему первенство. Но она не понимала, что гордость ее часто заставляет страдать окружающих.

Ее называли доброй, и она верила этому. Действительно, она делала много добра. С детства она привыкла видеть, что на царском дворе ежедневно кормили нищих, принимали странников, подавали им из богатой казны. С детства ей толковали старик-отец и инок-наставник, что надо быть щедрой и милостивой. И она давала много, тем более, что это ей ничего не стоило: ведь у нее было много всякого добра. К тому же ей казалось совершенно просто и явно, что голодного надо накормить, а нищего одеть, потому что каждый человек должен быть сыт и одет; и то, что она раз усвоила и признала за нужное, она всегда и делала. Она дарила своих санных девушек платьями, лентами и ожерельями, во-первых потому, что ей совсем не было жалко этого, а во-вторых, потому, что ей нравилось, когда все кругом нее было красиво и нарядно одеты. Ее хвалили и превозносили за ее дары и подаяния, и она принимала похвалы за нечто должное.

Один только человек сомневался в ее доброте. Это была горбунья Афимьюшка, которая все еще жила при царском дворе. Только она жила уже давно не в теремах царевны, а в службах царских. Когда царевна подросла, стала она приставать к отцу, чтобы велел он удалить от нее уродливую горбуню. Она говорила, что ей тяжело видеть перед собой такое убожество. Наградила она Афимьюшку шелками-парчами, мехами-шубами, кичкой<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Головной убор замужней женщины, полностью скрывавшей косы.

высокой, расшитой жемчугом, да никогда потом и не заглянула, как живет на новом месте ее старой матушке, не доглядела слез горьких, какими та обливала дары царевны.

И думалось часто Афимьюшке:

– Ох, впрямь, должно, у царевны сердечко-то каменное. Что уж это – давать, дарить и ласкового взгляда не кинуть. Все же я ее нянчила, а она взяла и швырнула меня, точно вещь ненужную.

Часто, когда царевна гуляла по саду с девушками, Афимьюшка следила за ней или из оконца своей клетки, или прячась за кустами. Девушки хохочут, в горелки, в прятки играют, поднимут визг и беготню, а царевна глядит на них холодно и равнодушно. Никогда-то она не примет участия в их забавах, никогда-то не вспыхнут молодым задором ее глаза. Словно неведомы ей вовсе девичье веселье и радость молодости. Вспоминала также Афимьюшка, что никогда-то царевна не кинет ни кого участливого взгляда, что никогда не светится в ее умных глазах слез жалости к чужому горю, вспоминала, что и в детстве никогда царевна не плакала, – и жутко делалось Афимьюшке.

### III

Много всяких затей бывало у царевны. Дивиться им давно перестали. Вздумалось ей как-то учиться иконописи. Списывала она в досужие часы божественные книги людям на пользу, истине Христовой на прославление, и выводила она не одни просты буквы, но и заставныеб. Уж и то диво, что девушка, а вышла такая мастерица, но царевне все мало. «Не умею, – говорит, – я ликов божественных писать, хочу выучиться писать лики божественные.» А что захочет царевна, до того она дойдет беспременно. Не было еще ничего, что не удавалось ей, если приложит она к чему свое старание.

Был в ближайшей лавре, что стояла в глуши лесной пустыни, инок-иконописец Федор, который славился искусством не только в округе, но и во всем царстве своим дивным искусством. Был он из посадских людей, сын богатых и честных родителей. Жизнь перед ним ложилась широкой, просторной дорогой, но он избрал по своей воле тесный и скорбный путь пустынножительства. С детства его влекло к величавой тишине матери-пустыни, к строгим подвигам, незримым для других, видимым одному Богу. С ранних лет он прилепился всей душой к Божьему храму; тайно от родителей он носил на теле власяницу и тяжелые вериги, он измождал себя трудными подвигами поста, молитвы и служения ближним. Никто никогда не слышал от него горячего, обидного слова. Сердце его не надмевалось, но было мягко, как воск, незлобивое и непамятливое на обиды, теплое и откликающееся на всякую сердечную боль и душевную муку.

Ему чуждо было шумное веселье юности. Когда сверстники его спешили на зеленый луг или крутой речной яр, там, за посадом, чтобы потешиться буйными играми и рукопашным боем, или шумной толпой собирались на веселые гулянки и вечерки, где так громко раздавался девичий смех, Феодор тихо удалялся в темный дремучий лес, что щетинистой стеной облегал посад с трех сторон. Там он предавался созерцанию величия Божьего мира, красоты небесной, ярко блистающей в лучах солнца или усеянной звездами, и сердце горело у него в груди, дух возносился в горнее, уста шептали молитвы. Он подолгу оставался в таком созерцании, и не страшным казались ему, мерный однообразный гул леса, немолчные переговоры высоких сосен и елей; не страшны были ему и крики диких зверей, рев которых слышался очень близко: он не боялся их, потому что к ним так же, как и ко всей твари Божией, он чувствовал жалость и любовь, а кого любишь, того уже не боишься. И звери, казалось, понимали его: пробегали иногда мимо него хищные волки и злые росوماхи,

---

<sup>6</sup> Заставные буквы – начальные украшенные буквы.

пробирался иногда близи медведь, но они только глядели на него и, встретившись с его тихим кротким взором, исполненным любви и жалости, проходили дальше, не тронув его.

Наступил, наконец, день, когда он навсегда простился с родными, покинул навсегда их светлые хоромы и клетки и, напутствуемый родительскими слезами и благословениями, пустился в далекий трудный путь. Там, где окруженная беспросветной глушью темного леса, в крутых берегах по порогам дико мчалась река, стояла издревле почитаемая лавра. Чернели темные срубы и клетки за серой бревенчатой оградой. Многоглавый деревянный храм с шатровой колокольной высился среди них. А в крутых берегах, в которых пенилась, бурлила и шумела река, обдавая их брызгами своих дико мчавшихся вод, были вырыты пещеры, и в них спасались те из подвижников, для которых тепло и удобство богатых келий казались чрезмерной роскошью. Со всех сторон обитель обступала лесная громада. Чувствовалась кругом благодатная тишина пустыни. Когда в лесной тиши раздавался перезвон колоколов, сливавшийся с шумом и грохотом волн, а к нему из пещер в берегах присоединялось старческое, дребезжащее пение схимников<sup>7</sup>, правивших службу у себя в кельях, в душу сходили ни с чем не сравнимые мир и отрада.

Сюда пришел после долгого и утомительного пути Феодор, здесь он сложил свое мирское имя и звание и принял на себя трудный подвиг иночества.

Господь прославил его великим даром – даром художества. Стал молодой инок писать иконы, и скоро лавра сделалась знаменита на всю землю своими иноками. Отовсюду начинали стекаться заказы: князья, дружинники и богатые посадские люди несли казну в обитель, несли жемчуг, драгоценные камни, парчу на богатые облачения, лишь бы иметь икону, писанную рукой Феодора.

Инок принимал заказы и никому не отказывал: ни богатому, ни бедному. Он работал и думал о всех тех страждущих, измученных людях, которые будут перед его иконой изливать свое скорбное сердце, ища утешения. И он старался вложить в их божественные лики так много любви и милосердия, чтобы все страждущие, все горюющие, все униженные и оскорбленные, склонившись под непосильным бременем горя и мучимые совестью люди находили утешение, взирая на икону. Он постился, начиная работу, и молился по ночам, чтобы Господь даровал ему силу изобразить то, что он желал, и нередко во время бессонных ночей ему бывали чудесные видения. Подкрепленный и ободренный, с большим еще вдохновением он садился за работу, и лики на его иконах дышали такой благочестью и кротостью, таким небесным милосердием, что от них как будто изливалась божественная благодать в душу молящихся. Много слез проливалось перед его иконами, много лютых сердец смягчалось, много исцелялось душевных ран. И прославился на всю страну смиренный инок Феодор.

#### IV

– Ни у кого не хочу учиться писать иконы, кроме как у инока Феодора, – сказала царевна, и пошли послы царские в лавру с богатыми дарами в обители упрашивать игумена отпустить ко двору царскому Феодора. Смиренному иноку было тяжело покидать свою убогую келью, но не стал прекословить желанию игумена и царских посланцев – и привезли Феодора против его желания в царские палаты со всякими почестями.

Сначала обучение царевны шло успешно. Все она быстро понимала, до всего доходила своим светлым разумом. Дивился на нее Феодор, как она скоро все усваивала, как легко ей давалось то, чего он, бывало, достигал только после долгого, вдумчивого труда. Не раз думал про себя инок, что напрасно скорбел он о том, что в царских палатах не придется

---

<sup>7</sup> Схимник – монах, принявший великую схиму, т. е. особенно строгий обет.



ему всецело отдаваться своей работе, которою он по мере сил служил Богу и страждущим братьям; он говорил себе, что, быть может, он призван Богом научить царевну своему смиренному, но хорошему делу, что она превзойдет его и больше послужит славе Божией. И он к обучению царевны прилагал все свои силы, все старания своего любящего, горячего сердца.

Случилось, однако, нечто странное. Все выходило у царевны: она справлялась с самой трудной и кропотливой работой, она отлично владела кистями и красками, она хорошо умела положить грунт и расписывать на нем и островерхие палаты, и церкви, и цветы, и различных зверей, она умела начертить складки одежд и выводить на них позолотой разные узоры, но лики ей не удавались. Казалось, все так же у нее выходило, как у Феодора: ни чуточки не отличался внешний облик от его иконы, служившей ей образцом; но не было в нем выражения той божественной благодати, которая сияла в той иконе. Сухо и безжизненно смотрели глаза, тогда как очи Пречистой и Дивного Младенца на иконе инока, казалось, озаряли смотревших на них. Царевна старалась, переделывала свою работу десятки раз, бралась за новую доску, но, сколько она не билась, ничего не выходило. Не могла она в очи вложить живого луча, луча всеблагодатной, всепонимающей, всепрощающей любви. Печально глядел на ее работу Феодор.

– Нет, не тронет она ничьего сердца, – думал он.

– Не то доченька, не то, – говорил в недоумении огорченный старец-инок.

– Не то, вовсе не то, – шептали кругом сенные девушки и говорила промеж себя свита царская.

Хмурила царевна свои тонкие соболиные брови. Не то ... она сама это видела, хотя она и не могла понять, чем ее икона хуже Феодоровой. Ведь выписана она ничем не хуже, а пожалуй, и лучше: блестят краски и яркая позолота на одежде, и все черты верны, те же губы, тот же лоб, нос, волосы. Одни глаза не те, а чем не те, чего в них нет и что надо вложить в них, этого она не могла постигнуть. Только она видела, что все кругом останавливаются перед работой Феодора, в умилении глядят на его икону, а на ее работу взглянут и прочь отойдут.

Разгневалась наконец царевна.

– Не хочешь ты открыть мне своего искусства, – сказала она однажды. Она в раздражении бросила свои кисти. Глаза ее потемнели и засверкали. – Не хочешь ты ни с кем делить своей славы, завидно тебе ...

– Бог с тобою, царевна, – кротко ответил Феодор. – Не допускай худой мысли войти к тебе в сердце. Все, что я знал, всему я тебя научил. Больше ничего я могу открыть тебе. Но вижу, что у тебя не выходит того, что нужно. И верь мне, больно мне за тебя.

– Но отчего же ты можешь, а я не могу! – в нетерпении возразила царевна. – Всему на свете можно выучиться, если захочешь, всему можно научить. Что надо сделать, чтобы очи выходили по-твоему? Другую краску взять? Другой писать кистью? Может быть, надо написать их больше или сделать какую черту? Ведь ты должен это знать!

– Ничего я не знаю, царевна. Пишу же я так, как чувствую.

– Чувствуешь? .. Как это – чувствуешь? – переспросила царевна.

Она этого не понимала.

– Чую я, всем сердцем чую, что надо так, а не иначе, – отвечал Феодор.

Царевна молчала, хмуясь. Она делала усилие, чтобы понять слова инока.

– Как это сердцем чуешь? – царевна глядела на Феодора, как смотрела всегда, прямо, в упор, словно хотела прочесть все его недосказанные мысли.

– Разве ты сама не чуешь, царевна? – удивился Феодор. – Когда ты пишешь, разве не чувствуешь сердцем, что в лике божественном должна быть благодать на спасение всем ищущим утешение в теплой молитве! Разве не горит в тебе сердце от одной мысли ...

– Горит... сердце... – повторила царевна, как бы разясняя себе трудную мысль.

– Разве не горит в тебе сердце, царевна, когда ты пишешь? Ведь ты видишь красоту Божьего мира, разлитую вокруг тебя, – а ты хочешь писать творца этой красоты. Ведь ты, я видел, делаешь добро, подаешь милостыню, кормишь сирых и убогих – а ты собираешься писать Того, у кого милосердия хватит на весь мир, на всякую тварь, земную и водную, и который частицу этого милосердия вложил в твое сердце.

– И у тебя всегда... горит сердце, когда ты пишешь иконы? – после долгого молчания медленно спросила царевна.

– Да, – отвечал Феодор, и глаза его засияли неземным блеском. – Сердце бьется, трепещет в груди, и радость объемлет меня... Эту радость не выразишь словами...

Царевна задумалась: она никогда этого не испытывала.

– И ты думаешь, без этого нельзя писать?

– Я думаю, – тихо сказал Феодор, – без этого ничего не выйдет. Умом этого не поймешь.

Долго молчала царевна, наконец она промолвила:

– Я не понимаю того, что ты говоришь, но понимаю, что того, о чем ты говоришь, во мне нет. Вернись в свою обитель – я пока не буду больше учиться... Но я подумаю о том, что ты сказал мне, и я пойму, – гордо заключила она.

## V

Много новых, неведомых доселе дум зародилось теперь в голове царевны. Она часто уходила в чащу царских садов и думала о словах инока. Но сколько она ни раздумывала, она не могла понять, что он хотел сказать, что значат, очевидно, простые для него и понятные слова «сердце горит», «сердце чувствует», которых она не могла постичь. Обидно было царевне, пришлось ей бросать, не доведя до конца дело, за которое она взялась; не далось же ей оно оттого, очевидно, что чего-то она не могла понять. А царевна не привыкла, чтобы ее светлому хваленому уму что-либо было недоступно.

Раз царевна сидела одна в тени густых кустов, глубоко задумавшись, а сениные девушки между тем в отдалении завели веселые игры: которые хоровод водили, которые качались на качелях, а которые и просто сидели на лужайке с разговорами. Случилось вдруг пройти мимо царевны горбунья Афимьюшка. Афимьюшка и сама была не рада, что попала на глаза царевне, да идти назад уже не приходится. Она подошла ближе и низко поклонилась:

– Здравствуй, царевна, наша красавица!

Вскочила царевна на резвые ноги, словно пробудили ее от сна, – так крепко она задумалась. Разгневалась она, что ей помешали ей думушку ее думать. Да еще видит, стоит перед ней Афимьюшка, горбунью уродливая. Вспылила вовсе царевна, себя не вспомнила.

– Как смеешь ты мне на глаза попадаться! – крикнула она. – Ведь велела я, приказывала на глаза мои тебя не пускать!

А горбунья Афимьюшка вся трясется с испуга, лепечет:

– Бог с тобой, сударушка моя, раскрасавица, камешек мой самоцветный...

Но царевну еще пуще досадует то, что кланяется она да лепечет, да ее ласковыми именами называет.

– Пошла прочь! – воскликнула она и брезгливо отвернулась. – Родится же на свет Божий такие уроды!

– Матушка моя царевна, – слезливо проговорила Афимьюшка. – Помилосердуй, не гневайся! Не обойди ласковым взглядом свою старую матушку!

Но царевна и уши заткнула и уши зажмурила.

– Уйди, уйди! Никакого убожества я видеть не могу! Гадка ты мне давно, презренная! Коли обделила тебя судьба-матушка, лучше бы тебе и на свете не жить, добрым людям не показываться!

Взяла тут обида лютая Афимьюшку. Не сдержала она своего ретивого сердца – недаром в нем точно капля по капле собиралась и затаивалась глухая обида досады от холодной жестокости царевны. Подняла она высоко свою седую голову, заблестели потускневшие глаза, и заговорила она, задыхаясь:

– Добро, добро, царевна, не пощадила ты моей старости, не вспомнила, как я тебя нянчила, по ночам не спала, тебя, дитя малое, укачивала, с царицей-матушкой тебя слезами обливала. Так не пощажу и я тебя. Смеешься ты над моим убожеством, а сама не знаешь, не ведаешь, что пуще меня обездолена: не ведаешь, что не такая ты, как все люди, что сердечко у тебя не живое, человеческое, не бьется оно, не чувствует, а каменное оно, как бы мертвое!

Проговорила все это единым духом Афимьюшка, остановилась наконец, взглянула на царевну – и обмерла вся: стоит царевна ни жива ни мертва, лицо точно белым снегом подернулось, глаза широко раскрылись, губы слегка дрожат. Опомнилась Афимьюшка; все бы отдала, чтобы вернуть слова поспешные.

– Красавица моя, раскрасавица, – зашептала она. – Опомнись, со зла сболтнула я, дура старая, не слушай меня, глупую!

Но у царевны глаза уже заблестели, точно молния в них сверкнула. Схватила она за руку маму свою старую.

– Что ты сказала? Объясни, объясни свои речи непонятные! Сердца нет во мне живого, человеческого?.. что это значит? – И она держала за руку Афимьюшку и глядела на нее так, как будто всю душу ее хотела взглядом прожечь. И поднималось у нее в душе что-то смутное, роковое и страшное, словно сознание какой-то неотвратимой беды, собиравшейся над ее головой.

Напрасно стала отнекиваться Афимьюшка, напрасно ссылалась она на свою злобу-обиду... Где ей было устоять против упорной воли царевны узнать всю правду-истину!

И рассказала ей все Афимьюшка, поведала про ее лихо-несчастье.

Слушала ее бедная царевна, бледная, как вешний снег, слушала, уронив руки на колени, и голова у нее шла кругом, и светлый разум ее мутился.

– И перед Богом говоришь ты так? – наконец с трудом молвили ее бледные дрожащие уста.

Заплакала в ответ Афимьюшка слезами горькими старческими – никакой клятвы и не потребовалось.

Другая бы на месте царевны заплакала, облегчила б душу слезами, но царевна плакать не могла; она только схватилась обеими руками за голову, стиснула ими свой белый лоб. Стояла перед ней Афимьюшка, роняла на землю горячие слезы, не успевала утирать их фатою узорчатой. И молчали обе... А издалека доносился громкий девичий смех, пересмешки, переговоры девичьи.

– О чем же ты плачешь? – наконец спросила царевна. Она еще ничего не могла понять, понимала только одно, что горе ее безысходное пало на ее голову.

– Ох, царевна моя раскрасавица, – залилась еще пуще Афимьюшка, – как же мне не плакать, как не жалеть тебя! Да разве можно на свете жить без сердца? Какое же это житие? Ох, недаром сказал старец– калика переходной: не забьется сердце ее от людских страданий, зато и от радости не пошевеливается! А без этого нет на земле счастья. Недаром, о тебе плакавши, царица-матушка так рано в гроб легла.

И сказала царевна, помолчав:

– Иди себе теперь, мама, дай подумать.



Хотела она еще попросить ее хранить тайну, как хранила ее до сей поры, но горда она была, не хотела поклониться старушке. Да нечего ей было и просить: недаром Афимьюшка клялась и божилась царице, что никогда никому не проговориться.

## VI

Осталась одна царевна, никак еще не может опомниться, мыслями собраться, а тут уже бегут к ней резвой гурьбой ее девушки сенные, и звенит в воздухе смех, точно в поднебесье песня жаворонков. Впереди всех летит бойкая Дуня, щеки у нее разгорелись, растрепалась русая коса, волосы выбились из-под жемчужной сети ожерелья. Прибежала, в траву возле царевны кинулась.

– Ох, сердце, сердце бьется, царевна, ишь как разбегались, – смеется она, прижимая к груди руку, – ох, словно выскочить хочет!

Царевна вдруг вспомнила, что этого у нее никогда не бывало:

– Покажи, – сказала она коротко.

– Ох, вот здесь, здесь, смотри-ка... Слышишь, так и колотиться? – и Дуня приложила руку царевны к своему сердцу.

Царевна невольно отдернула руку и сейчас же приложила ее к своей груди. У нее все было тихо, все было мертво...

Не заметила Дуня, как разлилась бледность по лицу царской дочери, и продолжала:

– Да у тебя не может так биться, царевна; ведь ты все время сидела себе да раздумывала. Это мы, глупые, так разбегались: они меня догнать хотели. Ведь ты вот все сидишь, а ты бы когда порезвилась с нами...

– Да разве вам весело так? – нерешительно спросила царевна.

– Весело? Еще бы не весело! Как не весело! – заговорили зараз все вокруг.

– Когда же веселиться, как не теперь, покуда девичья воля есть. А там с горем бабьем сведаемся!

– Ох, царевна, – сказала наконец Дуня, – да ты бы когда сама попытала: побегала, посмеялась бы с нами, потешила бы свое сердце девичье; небось, оно так же у тебя бьется в груди, как и у нас. Ну, бегаешь, ну, пересмеиваешься с девушками, ну, солнышко светит, греет, тебе с лазоревого неба улыбается – вот и весело.

Тут все заговорили разом, будто защебетали воробушки, стайей прилетевшие и севшие на изгородь.

– Ветер в поле носится, колосит золотую рожь-матушку, тебя обдувает, словно бы ласкается – весело с ними взапуски бегать!

– А жаворонок поднимается в высь голубую: не то Богу хвалу поет, не то на Божий мир радуется, в сердце что-то шевельнется, точно сама ты все это чувствуешь...

– А соловей по ночам разливается, словно про тебя все его пение, на сердце станет так светло и радостно, словно бы кто тебе необъяснимое разъяснил...

– Ой, хорошие ночи летние, теплые. Звезды с неба глядят, мерцают, переливаются, соловей поет... Иной раз и всплакнешь, а все ж на сердце радость великая. Ноченьку всю глаз не сомкнешь, так бы у окошечка всю ее и просидела бы, разве только мамка старая прогонит...

И поняла вдруг царевна, что все эти девушки, которые жили вокруг нее так давно, но которых она вовсе не знала, потому что никогда не удостоивала их внимания, жили своей особенной жизнью, о которой не ведала вовсе царевна, и что эта жизнь давала им что-то, чего она не испытывала и чего уразуметь не могла.

## VII

– Эх, – воскликнула наконец Дуня, – все равно не спросят, когда будут замуж отдавать! Так потешу уж я свои годы девичьи, пока воля девичья есть!

– А у них вот не так: не отдают просто, просватавши, – задумчиво сказала одна из девушек и кивнула головой на свою соседку. Та сидела в стороне, опустив голову, будто не слушая речей подруг. Смуглые щеки, черные, прямые и без блеска волосы, узкие и раскосые глаза обличали в ней чуждое происхождение. То была девушка-полонянка, захваченная на одном из походов в степь, привезенная ко двору царскому и отданная в рабыни царевне. Она сторонилась других девушек; угрюмая, молчаливая, с мрачным и беспокойным взглядом черных очей, она напоминала пойманную птицу, дикую и привыкшую к воле, которая рвется из плена или умрет от тоски в своих клетках.

Увидав устремленные на себя взоры всех и пытливый взгляд царевны, она отвечала односложно:

– У нас – нет, не так.

– А как же? Расскажи-ка царевне, помнишь, ты говорила...– пристали к ней несколько девушек.

– Как же это? Сказывай-ка, сказывай, – заговорили девушки.

– Старики соберутся, мужчины, женки – все. Старики кумыс пьют, разговаривают... Дети тут же, девушки тоже выйдут, нарядные... Вот выйдут молодые, удалые молодцы; стройные они, гнутся, как камыш на озерах, глаза горят, как у соколов... Сядут на коней, старики скажут: «Начинать можно». Поскачут все, только пыль столбом встанет, и не видно их. Кто вернется первым, тому девушки песни поют, старики его хвалят, кумыс подносят...

По мере того, как полонянка говорила, глаза ее разгорались, грудь высоко поднималась, стесненная воспоминаниями, тонкие ноздри раздувались, как у степного коня.

Девушки слушали с видимым увлечением.

– Ну а потом, как девушек-то ловят...

– Так и ловят... – с воодушевлением продолжала полянка. – Сядет девушка на коня, пустит его во весь опор. Скачет конь, расстилается... Земля трясется, гудит под ним – держись только... А за ней три-четыре молодца скачут, догоняют ее. Который догонит, того ей и быть женой.

– И за тобой так скакали?

– Много раз за мной скакали, – гордо проговорила полонянка, – много молодцов догоняли меня, никому я не доставалась. Конь у меня добрый был, по всей степи славился, далеко ускачет, всех позади оставит... От одного только не ушла...

– Догнал тебя? – спросил кто-то.

– Был у нас один... парень по-вашему... все его я на дороге встречала. Веду коней поить, – он мне навстречу, кумыс ли готовлю, кибитку ли ставлю, все он тут... Видный он был, калыма не мог заплатить, я богатого отца дочь была... Раз встретился, говорит: «Пойдешь за меня?» Я говорю: «Бег будет, скачи. Догонишь, твоя буду». Ушел он от нас, долго пропадал: год целый пропадал. Потом вернулся и говорит: служил долго у одного богатого. Спрашиваем: что выслужил? Говорит: жеребенка рыжего заслужил. Смотрим, жеребенок добрый – конь добрый будет. Стали покупать у него, говорит: не надо мне ничего, мне конь нужен. Я молчу. Пришло время; старики говорят: бег будет. Нарядилась я: все красное на себя надела, косы заплела – до пятидесяти у меня их было. Вышла из кибитки, ахнул народ: красавица, говорят кругом. Тут и он стоит со своим конем. Вывела я своего коня, вскочила и поскакала. Четверо их скакало... Слышу я гул за собой, конский топот.

Слышу потом: один отстал, слышу, другой отстал, третий – один всего за мной гонится. Сердце знает, кто. Скачем мы... ветер в ушах свистит, кони тяжело дышат. Я все впереди. Стал он нагонять меня. Думаю, не дамся. Ударила нагайкой моего коня: он плети никогда не знал. Рванулся конь, понесся вперед... А тот уж опять нагоняет на своем жеребце – вот уже почти рядом скачет. Обернувшись, я начала отбиваться от него нагайкой. Скачем мы уже рядом, а я все отбиваюсь. Изловчился он наконец, схватил меня вот так, нагайку из рук выдернул, бросил, меня с седла стащил, и стала я у него в руках, как пойманный кречет. Схватил меня, поперек седла положил, пустил назад своего жеребца. Так и меня привез, положил к ногам отца, глаза у него горят, духа не переведет и говорит:

– Вот она, теперь моя!

Полонянка остановилась, тяжело дыша. Она будто переживала все вновь. Девушки кругом замолкли; они слушали, затаив дыхание: никогда еще полонянка так много не рассказывала им про себя.

– Ну и что же? – спросила царевна.

– Отец говорит: «Ладно, пускай отдаст мне своего рыжего жеребца, другого калыма мне не надо». Я встала и говорю: «Не отдавай, у тебя другого нет». Отец говорит: «не дам дочь свою нищему». Я ушла в кибитку, выслала мать: «Скажи, ни за кого другого не пойду». Старики вступились, говорят: «Не можно тебе не отдать ее», шумят. Насилу уговорили. Говорит отец: «Ладно, будем свадьбу делать».

Снова приостановилась полонянка, а девушки с любопытством закидывали ее вопросами:

– Ну и что же? Расскажи Свадьба-то как? – Полонянка мрачно заговорила:

– Началось у нас пированье, а тут пришли ваши... Отца моего убили, разграбили аул, табуны наши угнали, девушек, женщин взяли в полон...

Отвернулась полонянка, очи черные вперила в землю. Блестели они у нее, но не слезами, а диким, враждебным огнем. Девушки молчали, пораженные ее печальной судьбой.

– Но и нашим бывает немало горя от вас, и вы наших берете в плен, – холодно сказала царевна.

– Что правда, то правда, а все же жаль ее, – тихо выговорила Дуня. – Тяжело, должно быть, в полоне жить. Скучно на чужбине, среди чужих людей, без ласки матушки, без заступы любимого батюшки.

На голубых глазах Дуни заблестели слезы. Она вдруг обняла полонянку своей белой рукой и прильнула к ней.

– Хочешь, будем мы все сестрами тебе? Печаль твою вместе размыкаем. Жаль, что нет на тебе креста, а то бы обменялась с тобой, была бы тебе сестрой крестовой.

Поднялся тут говор девичий:

– Не тужи, мы все будем о тебе печалиться... Не тужи, время пройдет, все позабудется. Позабудь своего друга милого; может, и другого по сердцу найдешь... Есть и у нас молодцы статные, красивые... Постой, подарю тебе ленту алую... – А я монисто мое новое... Матушка спросит, скажу, что потеряла... – а я рушник свой самодельный с узорами...

Так говорили девушки, лаская и обнимая смуглую полянку, и слезы жалости блестели у них на глазах. Молчала одна царевна. Она в своем светлом уме не находила простых и сердечных слов, которыми осыпали девушки несчастную пленницу, да и смысла она в них не видела.

И заметила вдруг царевна, что лицо у полонянки изменилось: вражда и злоба – ненависть исчезли с него, как тает вешний снег от ласкающих лучей солнца, губы дрогнули, глаза беспомощно взглянули вокруг... и вдруг полонянка закрыла лицо руками, и в наступившей внезапно тишине раздались ее громкие рыдания.

Утешали ее кругом девушки речами тихими и ласковыми:

– Плачь, плачь, авось, легче станет... Всегда легче после слез становиться... Плачь, голубушка: змея-тоска, бают, в слезах топиться... Да разве уж так плохо жить у нас? Свыкнешься, слюбится...

– Не могу... я лесов ваших... словно тын железный кругом стал... держит меня, – вдруг сквозь рыдания проговорила полонянка. – Душно мне... в степях у нас вольно дышится...

Беспомощно переглянулись девушки...

А царевна думала про себя: «Что значат для полонянки речи девичьи? Пойманного орленка не утетишь кормом да разговорами». И сказала она, как говорила всегда, спокойно и решительно:

– Постойте вы, пусть не плачет полонянка. Мне в рабыни ее отдали, я ее и отпустить вольна. Велю я тебя довести до нашей заставы, чтобы никто не тронул, а там до степей своих доедешь, авось, найдешь своих.

Взглянула на царевну полонянка, и взор ее озарил все ее лицо. Хотела она броситься к ней, хотела что-то сказать, но взгляд царевны был такой, каким бывал всегда: прямой, умный, но холодный и удерживающий всякую ласку. И осталась на месте полонянка, опустила вниз свои очи, а потом вдруг бросилась к Дуне и закрыла свое счастливое лицо на плече у девушки.

Заговорили, защебетали девушки:

– Ай да царевна! Вот нашлась! Все одним словом удалила! По всему видно, что умница, головка и сердце золотые!

И девушки увели счастливую полонянку, обняв ее крепко, смеясь и радуясь вместе с ней. Царевна же осталась в тяжелом раздумье. Отчего полонянка была более благодарна девушкам за их речи приветные, чем ей за ее милость царскую? И отчего от речей девушек полонянка вся изменилась в лице и слезы полились из мрачно глядевших дотоле очей? И отчего девушки были так счастливы, тогда как она не испытывала никакой радости?...

## VIII

Шумит и ревет река в скалистых берегах. Нависли над ней мшистые скалы, точно сторожат ее заветные думы, прислушиваясь к немолчному говору седых волн. Седые волны несутся вниз в глубине, строптивые, сердитые, хмурые. О чем ропщут они? Какие мысли уносят с собой в этой мрачной глубине? О чем сердито переговариваются между собой? Глядит на них сверху царевна, и кажется ей, что они думают такую же мрачную и безотрадную думу, что и она.

Уже давно царевна не гуляет в веселых, светлых своих садах, где листва деревьев бросает на зеленую мураву сквозную отрадную тень, где благоухают цветущие кусты. Постылы стали ей и сады царские, и хоромы светлые, людской говор, людские речи, смех ее сенных девушек, рассказы старых мамушек. Уходит она сюда, на дикий, угрюмый яр, садится на мшистую скалу, глядит на темные волны реки, и под их ропот и гул она думает, сжимая до боли свою бедную голову.

С тех пор как поведала ей Афимьюшка ей тайну великую, стала она ко всем присматриваться да приглядываться. Точно... не так люди живут, как она. Кругом нее – которые живут себе беспечно, весело, которые счастливы, а которые и горем каким-нибудь маются – и все они точно близки друг другу, словно друг друга понимают. Лишь она одна будто в стороне. Недоступно ей то, что доступно другим, чем живут другие. Глядела она на красоту поднебесную, но в груди у нее не шевелилось то, что другие называли отрадой и сладостным умилением. Слышала она вокруг себя веселый говор и смех, ее не влекло принять в них участие. Видала она чужое горе, она не рвалась душой подсобить ему, она

только иногда, и то по привычке, обдумывала, как проявить свою царскую милость или щедрость. Она видела, что другие живут иначе и что это дает им такое полное великое счастье, которого она никогда сама не испытывала.

Она стала всматриваться, как другие относятся к ней. Это не стала делать впервые. И заметила царевна, что от всех окружающих она видит только почет и уважение, и больше ничто... За что же превозносят, величают ее все? За красоту? Но что стоит ее красота, если под такой прекрасной оболочкой кроется такое ужасное убожество. За ум? Но к чему он ей, когда при помощи его она все же не в состоянии постигнуть многого того, что доступно другим, совсем неумным, неученым. Царевне стало казаться, что вся слава, гремевшая о ней по всему царству, пуста, как умолкнувший звук, безжизненна, как поблекший цвет. Когда теперь она слышала хвалы себе, она не принимала их более со спокойную уверенность, как прежде; теперь они вселяли в нее неизвестную дотоле мучительную тревогу и казались тяжелой, обидной насмешкой.

Несколько раз она призывала Афимьюшку, даже сама ходила к ней и допрашивала ее. Ей хотелось бы убедиться, что Афимьюшка сказала все с обиды и досады. Но старушка не могла отпираться от своих слов перед пытливым взглядом царевны, и царевна каждый раз выслушивала повторение грустной повести.

Что такое значит иметь сердце живое, человеческое? И Афимьюшка ей говорила, что такое сердце откликается на людское горе и страдание, и людскую радость, и веселье, что от этого самому человеку тепло живется на свете и другим возле него тепло становиться. Царевна наблюдала и стала понимать, что и ей не живется тепло и около нее не тепло никому, что ее все превозносят, величают, ценят, но что никто ее не любит.

Как же добыть себе настоящее сердце, чтобы быть, как другие люди? Как избавиться от своего убожества? Ведь она сделала все, на все пошла бы, чтобы вызвать к жизни свое каменное сердечко, у нее нашлось бы достаточно сил. Лишь бы кто-нибудь указал ей на средство! Но Афимьюшка не могла дать ей на это ответ; она только грустно поникала головой и плакала безутешными слезами.

Просить совет у отца? Но он, по словам старушки-горбуны, ничего не знал. Ведали эту тайну одна только Афимьюшка да царица-матушка. От этой тайны ужасной и горестной рано слегла в могилу царица: сердце в груди не выдержало и разбилось. Если царевна могла надеяться, что у нее разобьется сердце и кончится ее существование, она была бы рада, до того казалось оно ей невыносимым. Но у нее в груди ничего не билось, не страдало, не болело, только мучительная мысль невыносимо жгла мозг. А сказать родимому? Но у него также может разбиться от горя сердце. Нечего делать, надо про себя держать-таить свое лихо великое, надо молчать.

И надумала наконец царевна: в целом мире есть только один человек, которому она может поведать свою тайну и от которого может ждать совета и утешения; этот старец-инок, который был призван царем ей в наставники, который руководил ее детством и годами ранней юности и который, наконец, почитая свое дело оконченным, удалился от двора царского далеко в лесную пустыню.

## IX

Сгущаются сумерки в высоких царских хоромах. Скользят, плывут тени по бревенчатым стенам, по узорчатой резьбе, борясь со светом и побеждая его. Далеко за огнем гаснет на бледно-голубом небе алая зоренька, бледнеет с каждым мгновением ее золотисто-багряное одеяние: вот-вот набросит дымчатую фату свое румяное девичье личико. Вот уж одна звездочка на небе затеплилась, а там засветила лампаду другая ее сестрица, третья... И



льется в открытое окно вместе с вечерней свежестью благоухание цветущих яблонь, черемухи и жимолости.

Сидит царь-старик у открытого окошечка, смотрит в поднебесную ширь и высоту, и умиляется его сердце старческое, радость сердечная покойней делается, грусть-тоска душевная умирается.

Но не властен тихий вечерний вечер над царевной. Сидит она рядом с отцом на низенькой скамеечке, голову подперла похудевшей рукой; черная коса упала ей на грудь, бросая тень на побледневшее лицо. Дрожащие губы, померкшие взоры, устремленные вдаль, выдают ее мучительные, неослабные думы.

Промолвила она наконец дрогнувшим голосом:

– Родимый, скажи мне, можно ли жить человеку без живого сердца?

Сказала, а сама замерла в несказанной тревоге,. Но старый царь улыбнулся добродушной старческой улыбкой.

– Не можно, доченька. Как бы мог жить человек, кабы не билось у него в груди сердца живого, человеческого? Такого человека, поди, не сыскать ни у нас, ни в заморских краях.

Побледнела пуще царевна. Сомнения нет, не солгала Афимьюшка: не знает ничего родимый. И она должна молчать.

– Да как же и жить-то стал бы такой человек? – продолжал царь. – Чем бы стал он познавать красу Божьего мира? Чем бы доходить стал до людского горя? Чем бы откликаться на чужое счастье? Ведь умом всего не поймешь, всего не познаешь. Оттого и хорошо живет человек промеж других людей, что сердце у него в груди живое, отзывчивое.

Притихла царевна. А сумерки все ползут да ползут по бревенчатым стенам, кутают во мрак украшенные резьбою верхи, толпятся, сгущаются по углам. Глядит царь-отец на родную, любимую дочь, и растет у него в сердце тревога. Что с ней случилось? Что за перемена дивная произошла? Куда девался яркий румянец ланит, блеск разумных, ясных очей, поступь гордая, речь смелая? Или пришла пора ее, и девичье сердце стосковалось, места не найдет себе, доколе не отыщет друга милого, кому бы думы заветные пересказать, думы легкие девичьи, грезы сладостные, трепет сердечный, кому бы отдать себя на всю жизнь, чтобы век вековать в любви и согласии.

Вдруг в тишине раздался голос царевны... Звучала в нем затаенная тоска:

– Родимый мой, отпусти ты меня на богомолье! Хочется повидать мне моего наставника старого, старого инок, принять от него благословение!

Всполошился царь.

– Ох, доченька, куда это ты собралась? Путь туда далек и труден. Далеко в пустыне скрылся твой наставник. Лесами дремучими идти туда надобно, не проехать коню лесными тропами. Мало ли что на пути встретится: дикий зверь, лихой человек.

Но царевна не отступала в своих просьбах:

– Отпусти меня, родимый, надо мне видеть старого инок. Не перечь моему желанию. Дашь ты мне провожатых людей, и ни страшно нам будет ни лихого человека, ни зверя!

Говорит тихо, но настойчиво, и уста побледневшие дрожат, глаза туманятся тяжелой заботой.

Проведало чуткое сердце родительское, что напало на царевну лихо нелегкое. Не знало оно только с чего это приключилось: от сердечной ли заботы-зазнобы, или от людского наговора лихого, или от иного чего. И сказал царь:

– Хорошо, доченька. Снаряжу я тебя в дорогу дальнюю, повидай своего старого наставника, прими от него благословение, речей его мудрых послушай.

– И еще, родимый, – немного погодя, вымолвила еле слышно царевна, – не сетуй на меня, не печалься, коль останусь я долго в отлучке...

Привстал в испуге старый царь, сердце у него захолонуло, глядит на царевну. А та сидит перед ним бледна, словно цвет черемухи, что при легком ветерке, подобно снежным хлопьям, с дерева валится, и очи ее смотрят тоскливо, что сердце, глядя на них, от боли сжимается.

– Уж не в обитель ли ты Божью надумала?..

– Нет, родимый, нет... хочу я жить с людьми и как все люди живут!

– Ну, то-то же, то-то же, – проговорил наполовину успокоенный отец. – Было уже думал, как же мне на свете без тебя, моей доченьки, прожить?.. – А на сердце его все же таилась тревога.

– Вернусь я к тебе, родимый, что бы мне не стоило! – твердо сказала царевна. – Коли жить без меня, как же оставлю я тебя?

– Слушай, – промолвил царь, наклоняясь к любимой дочери, – бывает это опостылет все, что вокруг нас, не глядел бы ни на кого и ни на что. Сердцу нужны мир и тишина. Все, что в сердце волнуется и мятется, тогда уляжется, и снова делается краше Божий мир.

Тихо сказала царевна, опустив голову, не могла она открыться родному батюшке:

– Может, родимый, и у меня то же, так отпусти меня лучше от себя на время.

– Отпущу, отпущу, доченька, на сколько хочешь времени. Возвращайся только прежней ко мне, чтобы на щеках у тебя горел, переливался румянец яркой зоренькой, очи сияли бы как звездочки ясные.

Прежней! Нет, она или вернется другой: такой, как все люди, и внесет в свою жизнь, в жизнь отца и в жизнь окружающих радость, свет и счастье, или вернется лишь затем, чтобы успокоить последние дни родимого, а там... яр за царским садом высок и крут, и мрачные быстрые волны реки унесут за собой всякую тайну.

Но она не высказал своих мыслей, только молвила:

– Спасибо тебе, что отпустил меня на вольную волюшку.

Низко поклонилась и ушла, словно тень выскользнула из горницы.

## Х

В дремучем лесу, куда едва доходили глухие лесные тропы, спасался старый инок. Не смущался его дух страхом и смутной тревогой, которыми охватывают слабого и немощного человека одиночество, затишье и глушь. С юных лет он был закален в пустынножительстве: ходил он в святую землю, жил на Синае и Святых горах Афона; спасался он и во многих монастырях родной земли. Суровый к себе, он отыскивал все более и более строгие уставы для иноков, опытных уже в борьбе со страстями. Вдался он также в книжную мудрость. Он искал и тут богатства знаний, которые помогли бы духу бороться успешнее с вечным врагом его – плотью. И просветил господь его разум свыше обыкновенной меры, и просиял он как светоч премудрости и знания в своем родном краю.

Печать величия лежала на его спокойном лице, на его суровом челе была начертана вечно глубокая дума. Мысль была далека от всего земного: он весь ушел в изучение божественного Писания, в борьбу со змием страсти. И так жил долго, чуждый всего мирского, пока, наконец, внезапно, как внезапно всколыхнется под порывом вдруг налетевшего вихря зеркальная гладь озера, на него напала тоска и тревога. И говорил себе в смущении старец:

– Близок уж час отшествия моего. С чем предстану перед Вышним Судией? Накопил я годами и усердным трудом богатство великое – знание, а никому не передал его. Умру я, и погибнет оно со мной. И буду я в глазах нелицеприятного Владыки моего и Господа яко раб ленивый, который схоронил в земле талант свой.

И тосковал старец, и ужасался, впадая в уныние.

Но вскоре отыскиали его посланцы царские: царь просил его сделаться воспитателем своей единственной дочери.

Возвеселился духом старец и возблагодарил из глубины сердца Промысел Божий, взыскавший его такой милостью.

– Господи! – взывал он, – внял ты сокрушенной душе моей. Спокойно умру я, если ты даруешь мне с честью выполнить великое дело. Царевна призвана со временем править своим народом, от нее зависит часть и сила родной земли. Слава Тебе, творцу моему, что Ты сподобил меня поработать на этой почве!

Прилежно занялся старый инок обучением царской дочери, всю душу, все силы свои, все знания вложил в нее. Радовался всем сердцем старец на свою разумную и понятливую ученицу, ему казалось, что она озарена свыше светом премудрости на благо своему народу. Она была его гордостью, светлым лучом, озарявшим его старость. С любовью возвращал он этот прекрасный цветок, который впоследствии призван был дать роскошный плод. Он лелеял и оберегал ее ум от всяких дурных впечатлений, он будил в ней стремление ко всему светлому и прекрасному, к правдивому и разумному, учил ее пуще всего не бояться правды-истины и щедро осыпать всех царскими милостями.

Когда царевна достигла полного возраста, он счел свое дело оконченным. Он сознавал, что его трудовой день не прошел даром. Тогда он удалился в пустыню, чтобы последние годы своей жизни провести в молчании, вдали от людей, от мирского шума, перед лицом Всевидящего Бога.

\*\*\*

Сидят в тесной комнате друг против друга старый инок и царевна. В крохотное окошечко еле льется свет. Давит низкий потолок. И тихо, тихо все. Сидят оба и молчат. Опустил низко свою седую голову черноризец. Не ожидала царевна, что ее повествование так удручающе подействует на старца.

Прошептал он наконец еле слышно, с великой горестью, качая седой головой:

– Тяжко согрешил я, Господи! Как часто видишь роскошный плод, любишь на него, а он подточен червем. И дерево видишь иной раз зеленеющее и цветущее, а внутри оно уже давно сгнило.

Дрогнули уста царевны, потупила она очи: слова эти поразили ее своей правдой.

– Согрешил я, царевна, гордость во мне была: высоко я мнил о себе, что воспитал тебя, такое совершенное существо, а меж тем...

– И я прежде высоко мнила о себе, – тихо сказала царевна, – а теперь уже ничем не горжусь. Чем и гордиться мне! Ведь на свете нет большего убожества, чем мое.

Взглянул на нее старец. Перед ним сидело его любимое дитя, его гордость и утеха... Но как она переменилась. До боли ему стало жаль ее и захотелось помочь ей во что бы то не стало. Поднял голову и проговорил:

– Постой, царевна. Видишь, солнце уже закатиться хочет, скоро и ночь на землю спуститься. Отошли на ночлег своих провожатых, и проведем всю ночь с тобой на молитве. Может быть и наставит нас Господь.

Но царевна медленно покачала головой:

– Помолись ты за меня, – ответила она, – а я не могу молиться. С тех пор как узнала я, что нет во мне сердца живого, я много думала. С детства я молилась, как учили меня, но выходит, что говорила я лишь слова заученные. Другие молятся не так, я приглядывалась: другие молитву свою орошают слезами, а у меня их нет, они встают после молитвы иными, ободренными и успокоенными, а я этого не испытываю!

Испугался старец за царевну и воскликнул, взяв ее за руку:

– Отбрось эти мысли, царевна! Не поддавайся искушению! Неужто ты дерзаешь отвечать за Господа, творца твоего, Его неисчерпаемое милосердие измерять своим малым человеческим умом? Неси Ему, что можешь дать, хоть словесную молитву, если не можешь дать сердечной. Он знает, как принять твою жертву.

Тихо все кругом. На стоянке близко от сруба кельи догорают огни ночлежников. Люди спят. Спит и лес. Сквозь темную сеть сосновых макушек мерцают звезды. Тихо все... Только в келье инока слышится вперемешку пение, возглас, чтение. Стоит старец перед аналоем и мерно вычитывает молитвы, прерывая себя, чтобы от себя вставить еще более горячие моления, которые подсказывает ему его сокрушенное сердце. Лежит ниц царевна с воспаленным взором сухих очей, с горящей головой, с словами молитвы на устах, с холодной пустотой в груди. Бьется она, трепещет молодым своим телом, разметала по дощатому полу свои чудные черные волосы.

Затихла она наконец. Оглянулся старец и видит: не выдержали молодые силы и забылась сном царевна. Стало жаль ему девушки, он не стал ее будить, только удвоил молитвы. Молился он и за царевну и за себя, просил простить ему его грех: что. Ослепленный внешней красотой и благообразием, не заметил он тяжкого внутреннего недуга царевны, и молил наставить его и открыть ему пути исцелить ее.

Ночь прошла. Белый туман заколыхался между деревьями. Внизу еще стояла мгла, но вершины сосен уже посветлели. В оконце кельи забрезжил едва заметный свет.

Над царевной стоял, наклонившись, старый инок и бережно и ласково будил ее.

– Вставай, вставай, царевна! Скоро взойдет солнышко... Проснись, касатка! Выслушай меня, детище мое любимое: не смущай духа своего унынием... Есть средство, испытай его... Может, и даст тебе Господь Бог просимое... Ведь ты готова все исполнить? Ни от чего не отступишься?

Глядела на него царевна молча, но с таким упованием, с такой решимостью, что он и ответа не стал ждать.

– Покинь свое платье царское, уйди на время из палат и хором царских, отрекись от почестей и иди, послужи миру. Иди в селения убогие, входи в дома бедные, отыскивай сырых и горюющих. Где бы не нашла ты бедного, страждущего, обиженного, послужи ему. Не считай ни одного дела недостойным тебя и малым: малое пред взором человеческим несовершенным – велико в очах Господа. Может быть, от вида людских страданий и горестей растопится наконец твое сердце каменное и забьется оно, подобно другим сердцам.

Молча сложила с себя царевна богатый венец, жемчугами и камнями вышитый, сняла ожерелье жемчужное – ему и цены не было, сняла с себя запястья и запоны самоцветные.

– Не кручинься, – продолжал старец, – если спервоначала дело у тебя не будет ладиться. Если найдет на тебя смущение, страх, уныние, не поддавайся им. Моли смиренно Бога поддержать тебя, дать тебе силы совершать свой подвиг. Не размышляй, ведет ли он тебя к цели или нет, не рассуждай о своих делах – пусть о них сам рассудит Бог... Вот тебе завет мой... Год целый прими на себя этот подвиг, а там приди ко мне... Да не убивайся ты, девушка милая. Смотри, вон и солнышко на небо всплывает, свет и радость принесет всем, может, и твоей душе полегчает.

Точно, на посветлевших верхушках деревьев загорелся вдруг золотой луч. И, словно приветствую все оживляющее, все согревающее солнце, встрепенулись на ветках птицы веселым сонмом – понеслась к небу стоустая хвалебная песнь.

## XI

Отошла в обратный путь свита царская. Принесет она в царский град весточку-грамотку, что не ждать домой царевну раньше года... Пошла царевна в далекий путь на свой трудный подвиг. Сняла она с себя одежды царские и надела посконное платье<sup>8</sup>; вместо сафьянных сапожек обула лапти деревенские, голову повязала платочком и пошла себе искать убогих людей, страждущих и горюющих, кому бы нужна была ее служба. Резала ее изнеженное тело грубая холщовая рубашка, лапти жали ногу, солнце пекло ее белое лицо, но она не обращала внимание на это. Вошла она наконец в селение, затерянное в лесной глуши, такое убогое и копотное, что все оно со своими серыми избушками, окутанными серым дымом, который, расстилаясь, смешивался с белым туманом, вставшим из низины, казалось неприглядным пятном. Такого убожества царевна никогда не видала, но даже и представить себе не могла. Выбрала она самую ветхую, самую маленькую избушку, вросшую одним боком в землю, и пошла туда. Вола она в эту избушку не своей прежней гордой поступью – вошла смиренно и кротко, прося себе убежища. На расспросы хозяев ответила, потупив взоры:

– Сирота я, ни души у меня родной на свете. Пустите меня жить к себе, добрые люди, я же отслужу вам, отработаю.

Жаль стало хозяевам девушку, и оставили ее у себя.

С утра до вечера работает царевна рук не покладая: по дому прибирается, у печи возится, ребят нянчит. Трудно приходится царевне: непривычны ее руки крестьянской работе, да и делать она ничего не умеет. А тут еще взваливают на нее тяжелую работу да попрекнуть иной раз даровым хлебом. Бог один между тем ведал, как горек ей казался этот хлеб. Не раз от попреков поднималась в ее душе, подобно грозному валу, прежняя гордость, в слезах сверкал огонь, точно молния, прорезывающая надвигающуюся тучу. Но она подавляла в себе минутную вспышку, она удалялась от обидчиков и размышляла, и возвращалась она прежней смиренной, безответной девушкой, которая старалась об одном: выполнить все свои обязанности как можно добросовестней. И так она старалась изо все сил и так она была разумна и понятлива, то быстро дошла до всего, и скоро вместо прежних бранных слов: дармоедка, зевака, безрукая – ее начали осыпать похвалами.

Ей и сама работа начинала доставлять удовольствие, которого она еще никогда не знавала. Она утомлялась, но в тоже время ясно ощущала, как она сильна и здорова, и это давало ей доброе настроение. Часто теперь, когда она вечером, после трудового дня, усталая шла с водоносом от реки, она приостанавливалась и смотрела кругом... И она видела то, чего еще не видала прежде: красоту заходившего солнца, темневшего неба, загоравшихся звездочек, зеленого леса, замиравшего перед ночным покоем, – и она сознавала себя частью чудного Божьего мира.

Скоро оказалась удивительная перемена в хозяйстве семьи, приютившей ее. Все у них спорилось, все преуспевало и, чего прежде не было, приумножалось. Дивились этому добрые люди, кое-кто и позавидовал. Начали звать царевну то в один двор, то в другой, просили помогать то в том, то в другом деле, начали дарить ее. Она шла на всякий зов, но от даров отказывалась. И куда она не приходила, за какую работу не принималась, спорынья<sup>9</sup> и удача словно следовали за ней. Удивлялись ей, а расспрашивать не смели: может, и блаженная она, за которой следует Божия милость, а может, и грешница великая, что душу свою спасает. Но толковали о ней много, и, когда царевна заметила, что о ней прошла слава по округе, она собралась потихоньку, и раз, ранним утречком, когда весь лес лежал еще в сладкой утренней дремоте, окутавшись, будто покрывалом, белой пеленой тумана, она, не замеченная никем, ушла из деревни.

---

<sup>8</sup> Одежда из домотканного полотна.

<sup>9</sup> Успех, удача.



И ходила царевна из селения в селение, из веси в весь, и всюду несла свою великую службу. Она работала неустанно, ходила за больными и ребятами, справляла службу за недужных, слабых или просто уставших. Не было ни одного дела, даже низкого, даже чрезмерно трудного, от которого она бы отеклась. Слышала она много похвал себе, слышала много слов благодарности, видела много любовных, благодарных взглядов, но в груди у нее ничего не трепетало в ответ. Не билось, молчало каменное сердечко.

Царевна удваивала усилия, еще больше напрягала свой ум, еще с большим старанием искала людского горя, людских страданий. Начала она замечать его там, где прежде не замечала; и стала она видеть его не только в одном внешнем его проявлении: в бедности, слезах, нужде, стала она проникать и в глубь человеческой души и видеть самые скрытые ее извилины. Понятны стали ей новые печали, новые муки, о которых она прежде и не имела понятия. И этим страданиям навстречу она пошла и их старалась облегчить.

Сначала ей было вовсе не легко. Иногда, принуждая себя откликаться на горе горящего, она ощущала в себе такое равнодушие к людям, такой холод к ним, что готова была бросить свой подвиг. То ей казалось, что никогда не пройдет этот холод, исходящий от ее каменного сердечка, леденящий ее душу и сковывающий ее сильную волю, и что все старания ее тщетны. То ей думалось, ее помощь, только вынужденная, будет лишь оскорбительна для получающих ее. Она гнала от себя такие мысли: разве не вызывалась она исполнить завет старца беспрекословно? И она замечала, что люди хватались и за эту ее холодную помощь, за те, касавшиеся ей бедными и жалкими, слова утешения. Люди были так измучены горем, сердечной мукой, непониманием друг друга, что будто не замечали ее внутреннего холода и льнули к человеку, который подавал им руку в беде и несчастье, горе и кручине.

Замечала также царевна, что часто она резким словом, неумелым обращением больно задевала незажившую рану – она стала еще бережнее и внимательнее относиться к людям. Заметила она также, что всякий дар украшается ласковым взглядом дающего, что всякая услуга, всякий совет принимается легче, если они сопровождаются ласковой улыбкой. Она старалась, боролась с собой, и – о диво! Уста ее научились произносить ласковые речи, очи теплятся ласковым светом. Она научилась обдумывать горе каждого человека, понимать каждого страждущего, не давать в обиду угнетенных, поддерживать слабых и унывающих. К ней шли все за утешением, за разумным советом; шли выплакивать свое горе и поделиться набежавшей тоской-кручиной, и она умела выслушивать всех, утишить всяческую скорбь. Все находило в ней отклик: и детские, скоро просыхающие слезы, и безумные рыдания женщин над тяжелой бабьей долей, и бессильные стенания больных, и тяжкие старческие слезы, что катятся медленно и беззвучно по морщинистым щекам...

И казалось иногда царевне, что, когда она отдается вся горю и страданию других, в груди у нее что-то делается, словно птичка сидела там плененная и словно птичка эта взмахивает своими подрезанными крыльями, но не как не может вырваться... Царевна замирала в ожидании, прислушивалась, но это продолжалось лишь мгновение, и все снова затихало...

## ХII

Прошел год. Снова сидит царевна в келье у старца. Похудела она, нежные ланиты запеклись от лучей солнца, но на них сквозь смуглый загар горит здоровый румянец, заглубели белые руки, но всех движениях видны сила и бодрость. Глаза ее умные, светлые, больше опущенные в землю или устремленные вдаль, светятся новым светом: точно сияют две большие лучезарные звезды, тихие, покойные и радостные.

Повествует царевна старцу все, что видела, что пережила за год. Говорит она ему все больше не про то убожество, которому она так старательно приходила на помощь, не про те слезы людские, явные и тайные, что она утешала, а про то, как хорош и прекрасен мир Божий, как прекрасно солнышко ясное, небо лазоревое, зори алые, звездочки ясные, и как хороши люди, и как хорошо жить среди них, их жизнью, их горем, их радостью.

– И не бьется еще у тебя сердце? – спрашивает старец.

– Не бьется, – печально отвечает царевна. И рассказывала она ему, как иной раз и померещиться ей, что забилося оно, ожило – а приложит она руку к груди, вспомнит про собственное горе, там опять все точно вымерло.

Трепещет радостной надеждой старое сердце инока, давно отвыкшее от сладостного трепета, но он молвит сурово:

– Знать, еще не довольно ты поработала Господу. Слушай же меня, царевна: дам я тебе завет великий, наложу я на тебя правило монастырское – правь его смиренно и с усердием; не отвлекайся от молитвы, не смущайся наваждениями вражескими, худыми помыслами, страхом и робостью.

Дал он ей, кроме того, службу тяжелую и великую. Он велел ей идти на берег грозной большой реки, что катила свои мощные мутные волны неподалеку отсюда. В этом месте не было ни переезда, ни перевоза, и сильно терпел от этого люд: река перерезывала прямую дорогу и крещеным приходилось ездить далеко в объезд. Велел старец царевне поселиться на берегу реки и править перевоз, чтобы служила она по мере сил крещеному люду.

– Но помни, царевна, – сурово кончил он, – больше всего о возложенном на тебя правиле. Попусту не отвращайся от молитвы. Даже служба твоя миру пусть не отвлекает тебя. Попросит кто тебя о перевозе, рассуди прежде, сильно ли торопиться тот человек, и только в крайней нужде оставляй из-за него молитву. Помни же слова мои, царевна: кто преступит завет старца, погубит душу свою.

И пошла царевна, куда повелел ей старец. Поселилась она на берегу реки, завела себе ладью крепкую. Начала она творить правило монастырское по положению: утреню, вечерню и полунощницу, и находила она силы молиться горячо, неослабно и неотступно, видя в строгом исполнении завета старца залог обретения того, что составляло предмет ее постоянной мольбы. Не щадила она себя и не знала утомления, и хорошо ей было молиться перед лицом всевидящего неба, с душой, полной упования.

Прошел скоро слух в народе, что на реке стал перевоз, и начали стекаться к царевне крещение со всех сторон: кто по торговым, кто по своим делам. Расспрашивала всех царевна, кто по какому делу идет или едет, и старалась рассудить она каждый раз, стоит ли или нет прерывать для него свою молитву; но, знать, помутился ее светлый ум, затуманился: не могла она ничего рассудить. Все казалось ей, что велика нужда у прохожего или проезжего, что нельзя задержать его, – и она садилась в свою ладью крепкую, бралась за весла и перевозила его на другую сторону. И кланялись ей земно проезжие и прохожие, Божию милость на нее призывали.

И случилось однажды, творила она свое правило и молилась, лежа ниц на зеленой траве, отрешившись от всего окружающего, думая только об исполнении своей всегдашней мольбы, как вдруг слышит она за собой тоненький детский голосок:

– Перевези меня, а? перевези!

Обернулась она и видит: стоит на берегу небольшой мальчик, лет пяти младенец, беловолосый и голубоглазый, в одной рубашечке, с голыми ножками. Стоит и смотрит на нее, ручонкой показывает на тот берег:

– Туда, – говорит, – мамка там.

Подумала царевна:

– Надо ли прерывать свою молитву, чтобы отвезти малыша?

И рассудила она:

– Нет, не надо. Что нужно младенцу на том берегу? Мать, наверное, оставила его нарочно дома, а он соскучился и пришел.

– Поди лучше домой, – сказала она, – мать скоро вернется.

А сама продолжала творить свое правило. Но мальчик не уходил. Он стоял возле и жалобно твердил:

– Перевези, слышь, перевези!

Она с тоской заметила, что мысль ее рассеивается и молитвенный дух отлетает от нее: ведь она привыкла откликаться на всякую жалобу по первому зову. Но она вспомнила слова старого инок: «Не отвращайся от исполнения правила твоему попусту» – и стала успокаивать младенца:

– погоди немного, вот мать придет, возьмет тебя.

А он все твердит свое упорно и настойчиво:

– Хочу туда, к мамке хочу, сейчас, – и тащит за платье, и тормозит ее.

Подумала царевна:

– Уж не искушение ли это врага, чтобы погубить душу мою? – и начала она класть поклоны и читать вслух молитвы, отвернувшись от ребенка. Но сколько ни старалась она привести себя снова в молитвенное настроение, все слышится ей и отвлекает ее жалобу несмысленного младенца:

– Мамка там, хочу к мамке, хочу!

Оглянувшись на него опять царевна и говорит:

– Повремени хоть малость, дай мне окончить молитву. Поиграй тут на бережку.

Но мальчик глядит на нее своими невинными глазками и просит:

– Свези через реку, свези!

И вдруг закапали из его глаз светлые слезы и потекли по загорелым щекам, и залился он душу надрывающим детским плачем:

– Мамка оставила... Мамка, где ты? А? мамка, где ты?

И не устояла царевна перед детским горем несмысленным, задрожало у нее что-то в груди, и сказала она:

– Ну, не плачь, не плачь, я тебя отвезу сейчас. – оставила она свою молитву, взяла, подняла с земли мальчика и понесла его к ладье, сама прижимает к груди его белую головку, утирает его глаза заплаканные. Прижался к ней младенец и затих.

А царевна все приговаривает, усаживая его в ладью, берясь за весла, отчаливая от берега:

– Ну, смотри, вот сейчас оттолкнемся, вот уж и отъехали, вот смотри, как скоро до мамки доедем.

Но доехать оказалось вовсе не так легко. Привычны к тяжелой работе руки царевны, свыклась она с греблей – а сегодня ей кажутся что-то тяжелее и течение быстрее, так что трудно справляться ей с волнами, уносящими ладью.

Старается изо всех сил царевна, а тут еще, откуда ни возмись, поднадвинулись грозные тучи и налетел вихрь. Взбормоздил он и без того беспокойные волны реки, увенчал их белыми гребнями. Вспенились, зашумели волны, грозной грядой мчатся на ладью царевны, подкатываются под нее, сдают на соседнем валу. И колышется ладья, и часто заглядывают в нее злобные волны.

Испугался ребенок и заплакал снова, кричит, хватается за края ладьи.

– Ничего, ничего, – твердит царевна, стараясь улыбаться ему и успокоить его. – Не бойся, ничего с нами не станется. – А сама борется с волнами. И невольно приходит ей в думу:

– Откуда бы взяться такой непогоде? Давеча все небо чистое, ясное было, не шелохнулось в воздухе.

И вдруг мелькнула ей страшная мысль: а вдруг это Божие наказание за то, что преступила она завет старца, прервала свою молитву попусту? Не сказал ли старец: преступишь завет мой, душу свою погубишь?

И воззвала царевна из глубины души:

– Господи, хоть погуби мою душу, но младенца спаси. Дай довести мне его до берега, а там карай меня.

– А что, – шепчет ей чей-то голос, – если младенец этот вражье наваждение, если послан он тебе на погибель души твоей?

Ребенок же в это время подполз к ней, хватается за нее, ищет в ней защиту себе. И задрожало снова что-то в груди у царевны, и забыла она все, чтобы успокоить слабую младенческую душу, утешить детское горе. Целует она его в его белую головку, говорит ему речи ласковые:

– Не бойся, не страшны вовсе волны речные. Посмотри, ведь я не боюсь; посмотри, как легко грести... – А сама вся дрожит, и руки еле двигают тяжелые весла.

А волны все сердитей и сердитей подкатываются под ладью, хотят опрокинуть ее, разбить в щепы, понатешиться над своими жертвами. Из последних сил выбивается царевна, но не перестает говорить речи ласковые младенцу, прижавшему к ней; сама же повторяет про себя:

– Господи, спаси душу младенческую, спаси только ее!

– А свою душу погубила, – шепчет ей чей-то голос, – преступила ты завет старца и погибла навеки.

Но царевна не жалеет об этом. И дивно ей самой на себя, что она об этом не жалеет. Чувствует она, всем существом чувствует, что иначе не поступила бы ни за что. И дивиться она, отчего не могла она иначе, когда ее светлый ум так ясно говорил ей еще там, на берегу, что неразумно слышать пустые детские жалобы, из-за них нарушать завет старца. Но то чувство, что не позволило ей поступить иначе, что не дает ей и теперь жалеть об этом, охватывает ее такой великой, мощной радостью, какой она никогда не испытывала.

Вдруг, совершенно внезапно, стихла буря. Улеглись мятежные волны, словно по чьему-нибудь мановению, а поголубевшие воды реки тихо и нежно несут ладью царевны к берегу.

– Ну что? Не страшно больше? Не боишься? – спрашивает царевна, наклоняясь к младенцу.

И видит вдруг царевна: не прежний ребенок перед ней, белоголовый и белоглазый, с загорелым личиком, с босыми ножками – сидит против нее дивный Младенец, несказанной красоты. Его лик, в очах светится целый мир благодати, премудрости и любви. И простер Младенец свою руку и коснулся груди царевны. И вдруг совершилось в ней что-то неведомое ей до сей поры, что-то неизъяснимо сладостное. В груди что-то заныло, затрепеталось, забилося... Да, то наконец свободно взмахнула крыльями та бедная, плененная птичка, которая так давно ждала своего освобождения. В то же время в груди царевны что-то всколыхнулось могучей, широкой волной, и из глаз ее впервые полились светлые и крупные слезы. Она плакала от неизмеримого счастья, которое ощущала впервые, и от этого слезы делались для нее еще более сладостными.

Взор ее затуманился, а, когда она наконец отерла глаза, дивное видение исчезло, ладья стояла, врезавшись носом в мягкую песчаную отмель низкого берега, и белоголовый, голубоглазый, загорелый малыш, которого она перевезла, не простясь с ней, уже вылез и бежал по лугу, радостно махая ручонками, зовя:

– Мамка, мамка!

И вышла царевна из ладьи и оглянулась кругом. И казалось ей, что весь Божий мир озарился новой красотой: солнце сияло, небо улыбалось ей, птички звонко пели, волны реки

вторили их песне тихим ропотом. А на другом берегу, на крутом яре, стоял старый инок: он радостно взирал на небо и осенял ее издали крестом.

И поклонилась ему издали в землю царевна, и пошла она, пошла по роскошному лугу – и все цветы склонялись перед ней, приветствуя ее, и из-под ног ее вылетали жаворонки и поднимались высоко к небу, и в песне своей говорили Богу то, что она чувствовала, но не сумела бы передать словами... И пошла она домой, полная неведомого ей доселе чувства, которое горело жарче огня и светило ярче солнца. Это было дивное чувство любви к Божьему миру и ко всем людям. И в груди ее билось что-то ровно и мерно, торжественно и радостно: то билось в ней ее ожившее каменное сердечко, сердце живое, человеческое.